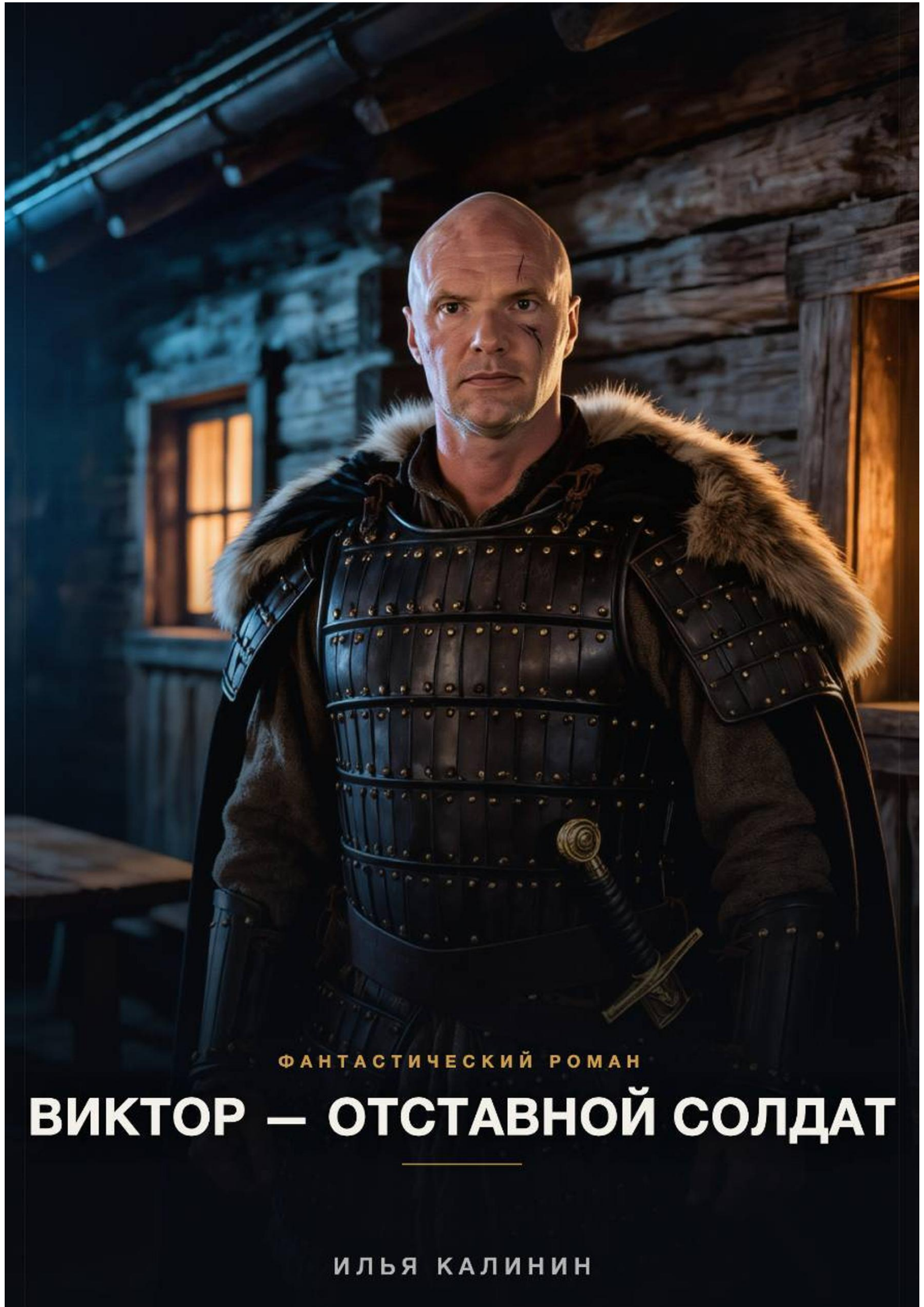




ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

ВИКТОР — ОТСТАВНОЙ СОЛДАТ

ИЛЬЯ КАЛИНИН

Илья Калинин

Виктор - Отставной солдат

«Автор»

2026

Калинин И.

Виктор - Отставной солдат / И. Калинин — «Автор», 2026

Спецназовец Виктор Скорев погиб в Сирии — и очнулся в чужом теле, в грязи под дождём, в средней Германии начала XVI века. От прежнего хозяина тела, отставного солдата с тем же именем, ему достались тридцать лет войны, одиннадцать шрамов, больное колено, дорогой меч не по чину. Ни магии, ни чудес, ни нечисти в этом мире нет. Роман о том, как в мире, где всё решают бумага и деньги, человек без бумаги и без денег собирает вокруг себя тех, кому некуда идти, — и выясняет, что знание не стоит ничего. Стоят люди.

© Калинин И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Сжатие	6
Глава первая. Дождь	8
Глава вторая. Застава	15
Глава третья. Харчевня	22
Глава четвёртая. Предложение	30
Глава пятая. Срок	38
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Илья Калинин

Виктор - Отставной солдат

Илья Калинин

ВИКТОР — ОТСТАВНОЙ СОЛДАТ

Фантастический роман

Москва · 2026

Пролог. Сжатие

Ночь была тёплая, и пахло пылью.

Пыль тут была особенная — мелкая, как мука, она лежала на всём: на камнях, на листьях чахлых олив, на плечах, на языке. За день её нагревало солнце, и до полуночи она отдавала это тепло, а после полуночи начинала тянуть холод. Скорев лежал за дувалом уже третий час и знал, что через полчаса начнёт мёрзнуть спина.

Слева от него, вплотную, лежал Студент. Он был из тех молодых, что не могут молчать дольше десяти минут, и Скорев давно перестал его одёргивать. Пусть говорит. Кто говорит — тот не думает, а кому в такую ночь есть чем думать, тому лучше не начинать.

— Дед, — сказал Студент в самое ухо, — а правда, что ты чуешь?

— Чего?

— Ну засады. Мужики говорят, ты чуешь.

Скорев не ответил сразу. Он смотрел в проём между камнями на дом, до которого было сто сорок метров и который через час, если не отменят, придётся брать.

Дом стоял плохо: двухэтажный, с плоской крышей, окна на три стороны и слепая стена на четвёртую. Подходить к нему следовало с этой слепой стороны, но с этой стороны был пустырь метров на восемьдесят, и пустырь был ровный, как стол.

— Чую, — сказал Скорев.

— И как?

— Никак. Сжимает вот тут. — Он не пошевелился, только чуть повёл подбородком к своей груди. — Под грудиной. Как будто ремень на одну дырку затянули.

— И всё?

— И всё.

Студент помолчал.

— А оно всегда?

— Что — всегда?

— Ну, всегда сбывается?

— До сих пор сбывалось, — сказал Скорев.

Это была правда, и это была не вся правда. Первый раз его сжало под Джелалабадом, когда ему было девятнадцать и он ещё не знал, что бывают люди, которые чувят. Он тогда встал на колено и сказал сержанту, что дальше идти не надо, и сержант, который был старше его на четыре года и глупее лет на двадцать, послал его вперёд. Скорев пошёл, потому что был солдат. Через сорок метров начали работать с двух точек, и из семерых обратно вышли трое, и он был среди этих трёх, потому что упал за камень раньше, чем ударило.

С тех пор прошло тридцать один год, и всё это время оно сбывалось. Оно не говорило, где и что. Оно только затягивало ремень на одну дырку и оставляло человека одного — сообщать.

— Слушай, а ты в это веришь? — спросил Студент. — Ну, что это дар какой-то. Или это просто опыт?

— Какая разница, — сказал Скорев.

Он и вправду не видел разницы. Ему было пятьдесят. Двадцать пять лет из этих пятидесяти он провёл на таких вот ночных пустырях, и если что-то у него в груди умело считать быстрее, чем голова, то он давно перестал спрашивать, откуда оно это умеет. Умеет — и хорошо. Он и не рассказывал никому, кроме своих, а свои и так знали.

В наушнике щёлкнуло. Скорев послушал, ответил двумя словами, снова стало тихо.

— Ещё двадцать минут, — сказал он.

Студент завозился, устраиваясь.

— Дед.

— Ну.

— А тебе не поздно? Пятьдесят же.

— Поздно, — согласился Скорев.

— А чего тогда?

— А ничего.

Он сказал это ровно, без выражения, потому что объяснять было нечего и некому. Дома его никто не ждал уже давно, а то небольшое, что он умел делать по-настоящему хорошо, он умел делать только здесь. Он знал десяток таких же, кто ушёл вовремя, и половина из них спилась, а вторая половина сидела по охранам складов и рассказывала друг другу, как оно было. Скорев не хотел рассказывать. Он хотел работать, пока работается.

И тут его сжало.

Оно пришло, как приходило всегда, — без предупреждения, ровно и сильно, будто кто-то вдруг подтянул под грудиной ремень. Скорев замер и стал слушать себя.

Так.

Он лежал за дувалом, за метровой каменной кладкой, и перед ним было сто сорок метров пустого пространства, и с той стороны, из дома, его не могли ни видеть, ни достать. Значит, не оттуда.

Значит, откуда-то ещё.

Он поднял глаза выше, туда, где над крышами на фоне неба чернел гребень, и подумал: снайпер. Наверху кто-то сидит и уже, наверное, минуту смотрит вот в эту точку, где лежат два тёплых пятна.

— Уходим, — сказал он.

— Куда?

— В арык. Быстро.

Студент не спорил — этому его научили за два месяца. Они скатились с насыпи в старый оросительный ров, узкий и глубокий, сухой уже лет пять, забитый пылью, тряпками и колючкой. Скорев лёг на дно, вжался в него плечом, потянул Студента за разгрузку вниз, к себе, и накрыл ему рукой затылок.

Стало тихо. Тихо было секунды три.

Потом небо низко и коротко зашуршало, как рвут очень плотную ткань, — и Скорев понял, что ошибся.

Он всё понял в эту одну секунду, и это была очень длинная секунда. Никакого снайпера не было. Никогда не было. Оно предупреждало его совсем о другом, и оно опять не соврало, — соврал он сам, когда решил, что понял. Он поднял глаза к небу и назвал вещи своими именами; он знал этот звук и знал, что от него не уходят ни в арык, ни под землю, ни куда бы то ни было ещё, потому что оно приходит сразу на всё поле.

Успел подумать, что надо было гнать Студента не в ров, а назад, за угол, за стену, за что угодно капитальное.

Успел подумать: тридцать один год, и вот так.

Успел рвануть мальчишку под себя.

Дальше был белый свет и очень много звука, и Виктор Скорев, пятидесяти лет, умер на дне сухого оросительного рва, накрыв собой чужого мальчишку, которого две недели назад видел впервые.

И это было всё, что он успел.

Глава первая. Дождь

Первое, что он почувствовал, была вода.

Она текла по лицу, собиралась в глазницах, лезла в нос, и оттого, что она текла и лезла, он закашлялся, и от кашля в голове гулко ударило, будто по шлему изнутри. Скорев перевернулся набок и стал выкашливать воду.

Он лежал в грязи. Грязь была холодная, жидкая и глубокая — рука уходила в неё по запястье. Шёл дождь, ровный и мелкий, без ветра, и по звуку было слышно, что идёт он давно и надолго.

«Живой», — подумал Скорев.

Он лежал и не двигался, потому что первое, чему учат, — не дёргаться, пока не поймёшь, что с тобой. Он начал считать себя, как считал уже раз пять за свою жизнь: пальцы правой — есть, все пять, шевелятся; пальцы левой — есть; ноги — обе, чувствуются; шея поворачивается; в ушах звон, но не глухота, звук снаружи проходит.

Во рту стоял вкус железа и ещё какой-то, будто он лизнул батарейку.

«Контузия, — решил он. — Плохая, но не самая».

Он открыл глаза.

Над ним было низкое серое небо и мокрые чёрные ветки. Никакого зарева, никакого дыма. Тихо. Только дождь по листьям, и где-то рядом — шумная, тяжёлая вода, много воды, как будто в двадцати шагах шла река.

Это было неправильно. Это было настолько неправильно, что Скорев некоторое время просто смотрел вверх и не двигался.

Не было ни звука работающей техники, ни голосов, ни рации в ухе. Не было запаха. Он не мог этого объяснить, но именно запах сказал ему больше всего: не пахло ни гарью, ни пылью, ни взрывчаткой — пахло мокрой землёй, прелым листом и лошадью.

Лошадью.

Он повернул голову.

В десяти шагах, между деревьями, стоял конь.

Конь был большой, тёмный, мокрый до черноты, под седлом. Он стоял, опустив голову, и смотрел на Скорева, и не уходил. Уздечка волочилась по земле.

Скорев сел.

Он сел резко, забыв, что нельзя, и его тут же повело; он упёрся рукой в грязь и переждал. И, пережидая, посмотрел на эту свою руку.

Рука была не его.

Она была шире и короче в пальцах, вся в мозолях — не в рабочих ладонных, а в тех, что нарастают от рукояти, — и на тыльной стороне, от косточки указательного к запястью, шёл старый белый шрам. Ногти были обломанные, грязные. На среднем пальце сидело простое железное кольцо.

Скорев смотрел на эту руку и очень медленно поднёс её к лицу.

Лицо было бородатое.

Борода была мокрая, густая, жёсткая, и он ощупал её так, как ощупывают рану — осторожно, боясь узнать. Нос был перебит и сросся с горбинкой. У левого виска, у самой кромки волос, был рубец. Кожа под пальцами оказалась чужой, обветренной, толстой.

Он опустил руку и посидел неподвижно.

Потом его вывернуло.

Его выворачивало долго, до горькой желчи, до слёз, и он стоял на четвереньках в холодной жиже, упираясь ладонями, и его трясло. Конь шагнул в сторону и снова встал.

Когда всё кончилось, Скорев отполз на два шага, зачерпнул ладонью из лужи и прополоскал рот. Потом заставил себя посмотреть в лужу.

Дождь рябил воду, и лицо в ней собиралось и распадалось. Он подождал, пока между каплями станет ровнее.

Из воды на него смотрел немолодой мужик с седеющей бородой, с перебитым носом и тяжёлыми надбровьями. Лет пятидесяти. Может, чуть меньше. Мокрые волосы прилипли ко лбу.

Скорев смотрел на него, и мужик смотрел на Скорева.

— Ну, — сказал он вслух.

И вздрогнул, потому что голос был не его. Ниже, суше, с хрипотцой.

Он поднялся на ноги.

Поднялся неудачно: левое колено при нагрузке отозвалось так, что он охнул и переступил. Тело было тяжёлое, крепкое и битое. Левое плечо не поднималось выше уровня груди — там что-то держало, старое, сросшееся неправильно. Спина отдавала в поясницу. Ребра слева ныли.

«Пятьдесят, — подумал он. — И всё изношено».

И тут же вслед за этой мыслью пришла другая, и она пришла не как мысль, а как знание, — так знают, сколько будет семью восемь, не считая:

левое колено — Штайнфурт, третья кампания, конь упал.

Скорев замер.

Он не помнил никакого Штайнфурта. Он никогда не слышал такого слова. Но он знал про это колено всё: как оно опухало осенью, как надо ставить ногу, спускаясь по лестнице, и что если долго идти пешком, то к вечеру придётся хромать.

— Так, — сказал он вслух. — Так.

Он стоял в грязи под дождём и думал.

Думать было о чем, и думать было страшно, и он сделал то, что делал всегда, когда становилось страшно: отложил большое и взялся за малое. Большое — потом. Сначала — где я, что со мной, что у меня есть.

Он огляделся.

Он стоял на обочине дороги. Дорога была разбитая, две колеи, полные воды, между ними трава. По обе стороны — лес, но лес нездоровый: наполовину затопленный, деревья стояли в воде, и вода была всюду, куда хватало глаз. Слева, в двадцати шагах, действительно шла река — мутная, вспухшая, тащившая ветки.

В трёх шагах от него в земле была яма. Земля вокруг ямы была вывернута и обожжена, и от неё ещё чуть заметно шёл пар, хотя дождь лил всюду. Ближайшее дерево — старая ветла — было расколото сверху донизу, и щепка лежала веером.

Скорев посмотрел на расколотое дерево, потом на свои руки, потом снова на дерево.

— Молния, — сказал он.

Он подошёл к коню.

Конь дал себя взять — не шарахнулся, только повёл ухом. Скорев поднял узду, и, поднимая, рука сама сделала правильно: перехватила у самого повода, коротко, без рывка.

— Тихо, — сказал он. И потом, не думая: — Тихо, Хват.

Конь дёрнул ухом на кличку.

Скорев постоял, держа за узду, и закрыл глаза.

Он не помнил. Ему нечего было вспоминать. Но если он тянулся к чему-нибудь — к пряжке, к слову, к кличке, — оно оказывалось на месте, как инструмент в темноте на знакомом верстаке. Он не знал, что лежит на верстаке. Но руки знали.

«Ладно, — подумал он. — Разберёмся».

Он занялся конём, потому что конь был понятен, а всё остальное — нет.

Подпруга оказалась слабой. Он затянул её, и опять это вышло само: подтянул, дал коню выдохнуть, подтянул ещё раз. Осмотрел ноги — все четыре целы, только левая задняя в глине выше бабки. Провёл ладонью по холке, по груди. Конь был хорош. Скорев не разбирался в лошадях — Скорев не мог отличить хорошую от плохой, — но сейчас он смотрел на этого коня и видел, что тот хорош, и даже знал почему: широкая грудь, сухая голова, длинная голень, ровная спина. Знание пришло и легло, и он не стал ему удивляться.

Потом он стал смотреть, что у него есть.

Первое было на нём. Плащ — тяжёлый от воды, шерстяной, с меховой оторочкой у ворота, застёгнутый серебряной пряжкой. Под плащом — кольчуга, мелкого плетения, а под кольчугой стёганая куртка, набитая чем-то, что от воды стало пудовым. Сапоги высокие, добрые, разношенные. В правом голенище, в специальном кармашке, нашёлся длинный четырёхгранный стилет без гарды.

Скорев вытащил его и посмотрел. Хорошая штука. Такой пробивает всё, что не сталь, и лезет в любую щель.

На поясе висел меч.

Он вытянул его до половины и остановился.

Клинок был длинный, узкий у острия, с широким долом, отточенный до бритвы, — но не в клинке было дело. Эфес был отделан золотом. Не позолотой — золотом, гладко и без выкрутасов, и оттого дорого до неприличия.

«Подарен герцогом за то, что вытащил его из свалки под Болью».

— Ага, — сказал Скорев. — Понятно.

Он сунул меч обратно и подумал, что за такую вещь в любом веке режут горло. Первое правило: не носить на себе того, за что тебя убьют раньше, чем ты успеешь этим воспользоваться. Меч был именно такой вещью.

За спиной, засунутый под пояс, оказался топорик — короткий, с узким лезвием, для тесноты. Скорев его вынул, взвесил, вернул на место и почувствовал, как что-то в нём успокоилось.

Дальше был конь.

К седлу был приторочен шлем с подшлемником, а через круп перекинут большой холщовый мешок, и в мешке — доспех: кираса, наплечники, наголенники, латные рукавицы. Всё битое, правленое, чиненное не раз, но целое и без ржавчины. Отдельно, в кожаном чехле, — арбалет.

Скорев достал его.

Штука была тяжёлая, ложе из плотного жёлтого дерева, отшлифованное ладонями до гладкости, плечи собраны из трёх стальных пластин, стянутых намертво. К нему прилагался ворот — железный ключ с зубчатой рейкой.

Он попробовал натянуть тетиву руками, просто чтобы понять. Тетива не пошла. Он вставил ключ и покрутил — пошла легко, с сухим стрекотом. Спустил обратно, аккуратно, придерживая.

«Так, — подумал он. — Стреляю я, значит, из этого. И, судя по всему, хорошо».

Он поймал себя на том, что уже прикинул, откуда сюда будет бить ветер, и усмехнулся в мокрую бороду. Усмешка на чужом лице ощущалась странно.

Последним он взял кошель.

Кошель висел на поясе, кожаный, тугой. Скорев отошёл под ветлу, где меньше лило, присел на корточки и высыпал содержимое на ладонь.

Он считал долго, потому что деньги были незнакомые и разные, и он раскладывал их по кучкам, как раскладывают патроны разного калибра.

Три больших серебряных монеты — тяжёлые, с профилем какого-то толстого господина. Талеры. Ещё одна, поменьше, стёртая, — тоже талер, но чужой чеканки, и её возьмут хуже.

Крейцеры — мелкое серебро. Он насчитал двадцать два.

Медь — горсть, пфенниги, счётом он не стал заниматься, прикинул на глаз: крейцеров на пять, если считать по двенадцать.

И отдельно — одна монета, которую он вынул последней и подержал на ладони.

Она была большая, толстая, чёрная от старости, тяжелее талера раза в два. Имперская марка. Это было много. Это была не монета на расход, это был последний рубеж, то, что зашивают в шов и не трогают, пока не припрёт.

Скорев ссыпал всё обратно, затянул шнурок и посидел ещё, глядя на воду в колее.

Он не знал здешних цен. Но он всю жизнь имел дело с деньгами, которых мало, и умел понимать по человеку и по месту, дорого тут или дёшево. Мужик, который живёт в лесу и вяжет хворост, получает в день гроши. Значит, три талера — это, скорее всего, много для мужика и мало для того, кто ездит на таком коне и носит такой меч.

Значит, ненадолго.

«Ну и хорошо, — сказал он себе. — Значит, не надо решать, что делать. Надо просто найти, где заработать».

И вот тут его наконец накрыло.

Оно накрыло не ужасом, а пустотой — той самой, что приходит после, когда всё уже кончилось и делать больше нечего. Он сидел на корточках под ветлой, в чужом теле, которому пятьдесят лет, посреди затопленного леса, под дождём, идущим, судя по всему, не первый месяц, и у него не было ничего: ни имени, которое здесь что-то значит, ни дома, ни человека, к которому можно приехать, ни бумаги, ни знания, какой сегодня день и какой год.

Была лошадь, железо и три талера.

Он подумал про Студента — успел тот или не успел, и тут же понял, что никогда этого не узнает, и что думать об этом нельзя, потому что от этого нет никакой пользы, а польза сейчас была единственное, что имело значение.

Он подумал ещё, что, наверное, надо бы удивиться, испугаться, начать искать способ вернуться.

Возвращаться было некуда. Он видел, что заходило. Он знал, что после такого не возвращаются.

Скорев встал, опираясь на ствол, потому что колено уже задеревенело от сидения.

— Ладно, — сказал он вслух, чужим низким голосом. — Живой — и живи.

Он взял коня и повёл в поводу, потому что садиться сразу побоялся — сначала надо было понять, как эта голова переносит движение.

Голова переносила плохо. Первые полверсты его вело, и он шёл, держась за седло. Потом отпустило.

Дорога тянулась вдоль реки, и река шла вровень с берегами, тащила ветки и целые кусты. Кое-где вода стояла и на дороге, и Хват шёл по обочине, сам выбирая, куда ступить.

Лес был мёртвый и мокрый. За час Скорев не увидел ни человека, ни дыма, ни следа колеса свежее вчерашнего. Один раз, у поворота, он увидел на обочине крест — простой, из двух жердей, вкопанный криво, и под ним холмик, оплывший от дождей. И через двести шагов ещё один. И ещё три вместе.

Он остановился у этих трёх и постоял.

Никаких надписей не было. Кресты стояли прямо у дороги, там, где хоронят тех, кого некому нести до кладбища.

К полудню — он определил полдень по общей серости, которая стала чуть светлее, — он всё-таки сел в седло. Сел с третьей попытки, с левой стороны, помогая себе, и, оказавшись наверху, сразу понял, что вот это тело умеет: спина сама нашла посадку, поясница отпустила, ноги легли как надо.

— Ну хоть что-то, — сказал он.

Он ехал ещё около часа, и наконец дорога вывела к мосту.

Мост был старый и длинный, шагов в полтораста, на двух каменных быках и на трёх деревянных козлах, и настил на нём был чинен во многих местах: новые плахи лежали впере-мешку со старыми, тёмными, и в двух местах зияли дыры, заложенные жердями. Река разли-лась вдвое и подошла под самый настил, и вода шла мутная, с сучьями. На той стороне, за мостом, из воды поднимался край деревни: серые крыши, и над ними ни одного дымка.

Поперёк въезда на козлах лежала жердь.

А рядом с жердью, у самой воды, сидел на корточках человек и вязал хворост.

Скорев увидел его раньше, чем тот его, и по старой привычке первым делом посмотрел не на человека, а вокруг человека: не сидит ли ещё кто в кустах. Никого не было.

Он тронул коня.

Мужик услышал, поднял голову и застыл на корточках, глядя снизу вверх. Был он немо-лодой, тощий, борода клоками, ноги босые и в глине по колено. Одежда на нём была не то серая, не то бурая, из грубого сукна, вся в заплатках, подпоясанная верёвкой.

— Здорово, — сказал Скорев.

Мужик медленно распрямился и поклонился — не в пояс, но заметно.

— И вам здравия, господин, — сказал он.

Скорев его понял.

Это оказалось самое странное за весь день — страннее чужих рук и чужой бороды. Чело-век говорил не по-русски. Скорев слышал чужие слова, чужой выговор, и понимал их сразу, без перевода, как понимают родное; и, открыв рот, сам ответил на том же языке, и язык лёг во рту привычно.

— Проезд? — спросил он.

— Мостовщина, господин, — сказал мужик с той вежливой готовностью, с какой объяс-няют очевидное. — С конного пфенниг, с пешего полпфеннига, с воза два.

— Чья мостовщина?

— Графская. — Мужик подумал и добавил честно: — Была графская.

Скорев вынул из кошель медяк и подал ему.

Мужик взял его двумя пальцами, поклонился ещё раз и полез снимать жердь, и снимал он её долго и неловко, потому что жердь была сырая и тяжёлая.

— А мост-то держится? — спросил Скорев.

— Держится, — сказал мужик. — Он крепкий был, каменный снизу-то. Его в апреле водой подмыло, доски унесло, ну мы и заложили чем было. Теперь ходить можно, только возом тяжёлым не езжайте, а то провалитесь.

— А чинить его кто будет?

— А кому чинить? — искренне удивился мужик. — Старый граф зимой помер. А моло-дому не до того.

— Воюет?

— Не-е, — мужик пожевал губами. — Гуляет.

Скорев помолчал.

— А деревня там? — Он кивнул за реку.

— Стоит деревня. Только вам туда не надо, господин.

— Почему?

— Так пустая она.

— Вымерли?

— Кто вымер, кто разбежался, — сказал мужик. — Язва была. Год как отошла, а народу нет. Оттуда, с полудня, она и шла.

Он говорил спокойно, без выражения, как говорят о погоде.

— А тут у вас чья земля? — спросил Скорев.

— Тут пока графская, дальхаймская. А как мост переедете да на восход возьмёте, там уже баронская, фон Вельде. Мост — он и есть межа.

— Далеко?

— К вечеру доедете, — мужик подумал. — Только вам, господин, и туда не надо.

Скорев поглядел на него сверху.

— А куда мне надо?

— Да я почём знаю, — мужик развёл руками. — Только вот я бы на вашем месте по этим дорогам не ездил, вот и всё.

— Дезертиры?

— Они, — кивнул мужик, и в первый раз в его голосе что-то дрогнуло. — Как войско-то платить перестало, они и пошли. Их по лесам, что грибов после дождя. Вон, — он показал подбородком назад, на дорогу, откуда Скорев приехал, — за поворотом кресты видали? То они.

— Видал.

— Мужики шли, четверо, с солью. Соль отняли, а их порубили. И бабу с ними. — Мужик почесал бороду. — А у вас конь добрый, господин. За такого коня убьют, не поглядят, что вы при железе.

Скорев кивнул. Это было ровно то, что он и сам успел подумать час назад.

— Слушай, — сказал он. — А год нынче который?

Мужик посмотрел на него внимательно и с некоторой опаской. Потом ответил осторожно:

— Так с Пасхи-то? Или от Рождества считать?

— Ладно, — сказал Скорев. — Не важно.

Он полез в кошель, достал вторую медную монетку и бросил мужику. Тот поймал её на лету — не по-старчески быстро — и снова поклонился.

— Спаси вас Бог.

— Брод где? — спросил Скорев.

— Три мили вверх, там пороги. Вода быстрая, да мелко, конь пройдёт. — Мужик помялся. — Только вы, господин, коли поедете, так поезжайте не мешкая. К темноте на той стороне лучше не быть.

Скорев тронул коня.

Он проехал шагов двадцать, потом обернулся.

Мужик всё стоял, где стоял, и смотрел ему вслед, зажав медяк в кулаке.

— Эй, — крикнул Скорев. — А барон-то ваш какой?

Мужик подумал.

— Барон? — переспросил он. — Барон дурной. Но при нём хоть вешают.

— В смысле?

— В том смысле, господин, — сказал мужик, — что где вешают, там ещё есть кому вешать.

И он снова сел на корточки, к своему хвосту.

Скорев поехал вверх по реке.

Дождь не переставал. Колено ныло, плечо тянуло, и к вечеру, он знал, разболится сильнее. Он ехал шагом, глядел по сторонам — на воду, на затопленный лес, на пустую дорогу, — и в голове у него, помимо воли, само собой шло то, что он делал всю жизнь: оценка обстановки.

Итак.

Война идёт давно и, судя по всему, не кончается. Войску не платят, войско разбежалось и промышляет на дорогах. Была чума и, похоже, ещё вернётся. Три года нет урожая. Власти нет: старый хозяин умер, молодому не до того, мост стоит на подпорках и его никто не чинит. Людей мало, земля пустая, деревни стоят с провалившимися крышами.

Значит, порядка нет.

Значит, кому-то он нужен.

Скорев сидел в седле и смотрел, как течёт мутная вода, и думал, что за всю свою жизнь он умел делать хорошо ровно одно: приходить туда, где нет порядка, и наводить его — за деньги, чужими руками, по чужому приказу. Это, оказывается, было единственное, что он взял с собой.

— Ладно, — сказал он вслух коню. — Поехали смотреть, что там у них за барон.

Конь шёл, опустив голову, и вода стекала с его гривы.

Глава вторая. Застава

Брод он нашёл к четырём часам — так он определил про себя, хотя часов не было ни на нём, ни, судя по всему, во всей этой земле.

Пороги оказались там, где сказал мужик. Река тут разбивалась о камни, шумела и пенилась, и по всему было видно, что в обычное время здесь курице по колено. Но обычное время кончилось в феврале. Сейчас вода шла коню по брюхо, и шла быстро.

Скорев спешился, подвязал повыше всё, что могло намокнуть, и повёл Хвата в поводу, а на середине всё-таки сел верхом, потому что его самого начало сносить.

Конь шёл боком, упираясь, нащупывая копытами дно. Один раз его повело, и Скорев на секунду увидел близко мутную воду и подумал очень спокойно, что если сейчас упасть, то в кольчуге он не выплывет и трёх шагов. Потом Хват нашёл камень, оттолкнулся, и вода стала мельче.

На том берегу Скорев слез, отошёл от воды и постоял, давая коню отдышаться. Руки у него подрагивали. Не от страха — так всегда бывало после.

— Хороший, — сказал он и похлопал коня по мокрой шее. — Хороший.

Дорога за рекой сразу ушла в лес.

Лес был другой, чем на том берегу, — суше, гуще, старше. Дорога шла между двух стен, и стены эти стояли близко, и в них было темно. Скорев ехал и ловил себя на том, что смотрит не на дорогу, а на подлесок, и что сам собой держится середины колеи, подальше от обочин.

«Правильно, — подумал он. — Из кустов работают с пятнадцати шагов».

Дождь стал реже. Небо не посветлело, но перестало литься сплошняком, и оттого сделалось слышно лес: как капает с веток, как где-то далеко и тревожно кричит птица.

Он проехал так с полчаса, и тут Хват коротко всхрапнул и сбавил шаг.

Скорев натянул повод и остановился.

Он ничего не видел и ничего не слышал, кроме капли. Но конь стоял, подняв голову и наставив уши вперёд, и не хотел идти.

Скорев потянул носом.

Дым.

Тяжёлый, чадный, от сырых дров, и к дыму примешивалось что-то сладковатое, от чего у него внутри всё подобралось, потому что этот запах он знал очень хорошо и ни с чем бы не спутал. Он снял с луки шлем, надел подшлемник, потом шлем; вытянул меч наполовину и опустил его вдоль ноги, прикрыв плащом.

— Тихонько, — сказал он коню. — Пошли тихонько.

Они прошли ещё шагов двести, и лес расступился.

Дорога выходила на развилку. На развилке стояла виселица — простая, из двух столбов и перекладины, — и на ней висели двое.

Висели они давно. Скорев посмотрел ровно столько, сколько нужно было, чтобы понять: мужики, не солдаты, оба босые, оба в обычном крестьянском рванье, обоим за сорок. Обоих вешали не умеючи — на короткой верёвке, и умирали они долго.

Сладкий запах шёл от них.

В десяти шагах от виселицы дымил костёр. У костра сидели двое и, нанизав на прутья морковь, жарили её в углях.

Рядом, на треноге из жердей, стоял щит с гербом: на белом поле чёрная кабанья голова.

Скорев увидел герб и почувствовал, как отпустило плечи. Он не знал, что означает эта голова и чья она, но он знал другое, и знание это пришло само собой, как приходило теперь всё: где герб — там порядок. Разбойник герба не носит. Дезертир герба не носит. Герб надо у кого-то отнять, а отняв, надо суметь его оправдать.

Он вложил меч в ножны и снял шлем.

Двое у костра увидели его и вскочили — суетливо, роняя свою морковь. Похватали копья, нахлобучили шлемы. Шлемы у них были нечищенные, стёганки засаленные до блеска, сапоги просили каши.

Тот, что повыше, вышел на дорогу и загородил её копьём.

— Стой! — сказал он. — Дальше хода нет.

Скорев остановил коня в шести шагах — ближе, чем удобно копейщику, дальше, чем нужно, чтобы разговаривать.

— Отчего же нет?

— Дальше земли барона фон Вельде, — сказал высокий. — Господин барон велел никого не пускать.

Скорев помолчал.

Он смотрел на этих двоих и видел то, чего они сами про себя, наверное, не знали. Обоим было под пятьдесят, как и ему, — старые служилые мужики, всю жизнь простоявшие с копьём. Копья держали привычно, но без охоты. Оба были тощие. У высокого щетина на щеках была седая и трёхдневная.

И оба они жарили в углях морковь.

Скорев отметил это отдельно и положил в память. Человек, которому платят, не жарит морковь на посту. Человек, которому платят, покупает у мужиков хлеб и сало, потому что мужики тут же, за поворотом, и им деваться некуда.

— Давно стоите? — спросил он.

Высокий не ожидал такого вопроса и от этого ответил:

— С весны.

— И меняют вас?

— Меняют, — сказал высокий. — Через день.

— А платят?

Стражники переглянулись.

— Ясно, — сказал Скорев.

Он тронул коня и подъехал на два шага ближе, и копьё пришлось опустить, потому что теперь оно упиралось бы ему в колено, а этого высокий делать не стал.

— Кого повесили? — спросил Скорев, кивнув на виселицу.

— Так... — Высокий оглянулся на своего. — Чумных.

— Не похожи они на чумных.

— Так с той стороны шли. — Высокий говорил уже без напора. — С полудня. Оттуда язва идёт. Велено вешать всех, кто с полудня.

— Кем велено?

— Господином управляющим.

— А управляющий чумных от нечумных отличает?

Высокий молчал.

— Они не чумные были, — сказал вдруг второй, который до этого не открывал рта. Он был помельче и постарше. — Обыкновенные мужики. Погорельцы. Шли на север, к родне.

— Заткнись, — сказал ему высокий без злобы, устало.

— А чего заткнись, — сказал второй. — Он спросил, я сказал.

Скорев посмотрел на висящих, потом на этих двоих.

Он видел такое в жизни много раз и в разных землях. Приказ дают наверху, а исполняют внизу, и наверху приказ звучит разумно, а внизу превращается вот в это: двое босых мужиков на верёвке, потому что шли не с той стороны. И те, кто вешал, потом три месяца сидят рядом и жарят морковь, и стараются не смотреть.

— Ладно, — сказал он. — Меня зовут Виктор Скорев. Я не чумной и иду не с полудня. Я перешёл реку у порогов, а до того ехал с заката, из графских земель. Хочешь — потрогай меня, хочешь — поглядите на моего коня. Ни у меня, ни у него бубонов нет.

Стражники смотрели на него.

— Не велено, — сказал высокий, но сказал уже не так, как в первый раз.

— Я понимаю, что не велено. — Скорев говорил спокойно и негромко, и оттого его слушали. — Ты стой на своём месте и делай, как велено, я тебя не сужу. Только ты подумай вот о чём. Я поеду сейчас назад, объеду низом, через болото, и войду в баронскую землю с другой стороны, потому что земля не заперта, а на болоте у вас поста нет. И через два дня я буду в замке у твоего барона, и он спросит меня, как я к нему попал. И я ему скажу: а вот так, господин барон, объехал вашу заставу по кустам, потому что ваши люди меня не пустили, а как объехать — им и в голову не пришло.

Он помолчал, давая этому улечься.

— Или я проеду сейчас. И тогда я скажу барону, что на дороге у него стоят двое старых солдат, которые своё дело знают, а служат третий месяц без жалованья и жрут морковь. Вот и вся разница.

Высокий стоял, опустив копьё.

Скорев полез в кошель, вынул два крейцера и, не глядя, кинул. Мелкий поймал.

— Это не мзда, — сказал Скорев. — Мзду я не даю. Это вам за хлеб. Купите себе у мужиков хлеба и сала и не позорьте своего господина морковкой.

Второй, мелкий, вдруг засмеялся. Смеялся он хрипло, и было видно, что смеётся он редко.

— Господин, — сказал он, — а вы сами-то из служилых?

— Из служилых.

— Оно и видно.

Высокий постоял ещё немного, потом отступил и убрал копьё с дороги.

— Езжайте, — сказал он. — Только вы это... до темноты доезжайте до деревни. Тут по ночам всякое.

— Спасибо, брат-солдат, — сказал Скорев.

И тронул коня.

Он проехал шагов пятьдесят и услышал, как за спиной высокий говорит мелкому что-то, а мелкий отвечает; слов было не разобрать, но по голосам он понял, что они не ругаются.

«Хорошо, — подумал он. — Два человека, которые не будут мне мешать. Пока их не спросят под запись».

За развилкой лес скоро кончился, и Скорев увидел то, что этот лес до сих пор загорался.

Земли барона фон Вельде лежали в низине, и низина была залита водой.

Это были поля — он понял, что это поля, по остаткам межей, по кольям, по тому, как ровно шла граница между водой и кустарником. Но полей больше не было. Была вода, стоявшая на ладонь, а из воды торчали жёлтые метёлки — то, что должно было стать хлебом и не стало.

Он ехал вдоль этой воды и смотрел.

Кое-где над водой поднимались бугры, и на буграх зеленело — там что-то ещё росло, какая-то невысокая, редкая, жалкая рожь. Раза три он видел людей: мужики стояли по щиколотку в воде и что-то делали руками, наклонившись. Они разгибались и смотрели на всадника, и снова наклонялись.

Дальше пошли дома.

Деревня открылась вся сразу — она стояла на пологом склоне, и Скорев увидел её от края до края. Он остановил коня и стал считать.

Он насчитал сорок дворов.

Из сорока в шести дворах не было крыш — стропила стояли голые и чёрные. Ещё в трёх крыши провалились внутрь. Заборов не было почти нигде: их разобрали. Скорев видел такое и понимал: сначала разбирают дальние заборы, потом ближние, потом сараи, потому что дров нет, а зима есть.

Он тронул коня и въехал в деревню шагом.

Улица была не улица, а канава, полная жижи. Пахло навозом, дымом и квашеной капустой. Возле одного двора стояли две коровы и обгладывали куст. Коровы были такие тощие, что у них ходили рёбра.

Из-за плетня на него смотрели дети. Их было четверо, все босые по холоду, все в одних рубашках. Они смотрели молча, не убегая и не приближаясь.

Скорев кивнул им. Дети не пошевелились.

Посреди деревни, на площади вокруг огромной лужи, стояло большое приземистое здание из бревна, с высоким крыльцом и коновязью. Над дверью висел на цепи железный обруч — вывеска, надо полагать. У коновязи стояли две телеги.

Скорев остановился у крыльца и сидел, оглядываясь.

Тут его и нашли.

— Господин! — сказал кто-то сбоку. — Господин, а вам ночлег не надобен?

Скорев повернулся.

У плетня стоял мужик — босой, широкоплечий, лет сорока, с крепкими рабочими руками и очень усталым лицом. В руках он держал деревянные вилы, но по тому, как он их держал, было видно, что он их только что схватил, чтобы не стоять с пустыми руками.

— Надобен, — сказал Скорев.

— Так у меня переночуйте! — обрадовался мужик. — За крейцер!

— У тебя?

— У меня, господин, изба добрая.

Скорев посмотрел на его двор. Двор был не добрый. Крыша просела, из дверей тянуло дымом и коровьим духом.

— Скотину в доме держишь? — спросил он.

Мужик замаялся.

— Держу, — признал он. — Дожди, господин. Скотина болеет. В хлеву сыро. Я её домой завожу, чтоб хоть чуть отогрелась.

— И сколько вас в избе?

— Я, баба да шестеро детей.

— И корова.

— И корова, — вздохнул мужик. — И коза.

— И ты хочешь крейцер?

Мужик посмотрел на него, потом на харчевню, потом снова на него, и в глазах у него что-то быстро посчиталось.

— За полкрейцера, — сказал он.

Скорев неожиданно для себя усмехнулся.

— Слушай, — сказал он. — Как тебя звать?

— Михель, господин.

— Михель. Я в харчевне буду ночевать. Но ты мне нужен.

Мужик оживился и подошёл ближе.

— Чего изволите?

— Коня почистить и покормить. Вещи снять и сторожить. Чтоб ни один гвоздь не пропал.

— Так это я мигом! — Михель уже бросил вилы к плетню.

— Погоди. — Скорев наклонился с седла. — Сколько тебе платят в день на барщине?

Мужик сразу насторожился.

— На барщине не платят, господин. Барщина — она барщина и есть.

— А если тебя кто нанимает?

— Так кто ж нанимает-то... — Михель развёл руками. — Ну, в монастыре, ежели на стройку, поденщикам два крейцера в неделю дают. И харчи.

Скорев кивнул. Это была вторая цифра, которую он сегодня узнал, и он сложил её с первой.

— Крейцер в день, — сказал он. — За коня, за вещи и за то, чтоб язык за зубами.

Михель захлопал глазами.

— Крейцер? В день?

— Пока я здесь.

— Господи, — сказал Михель. И тут же, спохватившись: — Всё сделаю, господин. Всё как есть сделаю. Уж я расстараясь.

— Расстарайся, — сказал Скорев и слез с коня.

Слез он плохо. Колено, весь день просидевшее в одном положении, не разогнулось, и он на секунду повис на седле, и Михель это увидел, но виду не подал, а подставил плечо так, будто просто подошёл забрать повод.

«Ага, — подумал Скорев. — Ты, значит, не только жадный».

Внутри харчевня оказалась одним большим помещением с очагом посередине, длинными столами и лавками. Народу было немного: человек десять, по виду — поденщики, все мокрые, все жались к огню. Пахло дымом, кислым пивом и мокрой шерстью.

Хозяин увидел его от порога и пошёл навстречу, вытирая руки о передник. Это был кругленький, лысеющий мужичок с бегающими глазами, в чистой рубахе и в зелёной фетровой шапочке с пером — единственной приличной вещи на нём.

— Милости просим, милости просим, — заговорил он, кланяясь неглубоко и шапочку не снимая. — Лоренц, содержатель, к вашим услугам. Вам покушать? Пива?

— Мне комнату, — сказал Скорев.

Лоренц пошевелил бровями.

— Комната есть одна, — сказал он осторожно. — Да только господа у нас редко...

— Кровать в ней есть?

— Кровать есть. И тюфяк.

— Клопы?

Хозяин посмотрел на него и решил не врать.

— Есть, — сказал он.

— Простыня?

— Найдём, господин. Стираная.

— Сколько?

И вот тут началось то, ради чего Скорев, в общем-то, и завёл разговор.

Лоренц назвал цену — четыре крейцера в день. Скорев не стал ни возмущаться, ни торговаться сразу. Он снял мокрый плащ, повесил его на крюк у очага и сел на лавку, вытянув большую ногу.

— Четыре, — сказал он. — Хорошо. А что в четыре входит?

— Комната, господин.

— И всё?

— И всё, — вздохнул хозяин. — Харчи отдельно, дрова отдельно, вода горячая отдельно.

— А овёс коню?

— И овёс отдельно.

— Так, — сказал Скорев. — Значит, считаем. Комната четыре. Харчи, положим, два. Дрова, положим, полкрейцера. Овёс коню — сколько у тебя овёс?

— Крейцер в день, господин, — быстро сказал Лоренц.

— Крейцер? — Скорев поднял бровь. — За овёс на одного коня? Ты, любезный, овёс золотом сыплешь?

— Так корма нынче...

— Корма нынче дороги, знаю. Только конь у меня один, а не четыре, и жрёт он не больше пуда в неделю. Это семь пфеннигов в день, и то с сеном.

Он сказал это уверенно и только потом сообразил, что не имеет ни малейшего понятия, откуда он это знает. Но он знал. И, судя по лицу Лоренца, знал верно.

Хозяин заморгал.

— Ну, семь так семь, — сказал он. — Вам, вижу, не соврёшь.

— Не соврёшь, — согласился Скорев. — Дальше. Ты назвал четыре за комнату. Скажи мне, любезный, у тебя эта комната часто занята?

Лоренц открыл рот и закрыл.

— Нечасто, — признал он.

— То-то. Она у тебя стоит пустая, а стоя пустой, она не приносит ни пфеннига. Я тебе плачу два. За две недели вперёд. — Скорев помолчал. — И харчи буду брать у тебя же, и пиво, и коня кормить у тебя, а это тебе ещё три в день сверху, хочешь ты того или нет. Считай.

Хозяин посчитал. Считал он честно и быстро, и было видно, как у него на лице проступает результат.

— Два с половиной, — сказал он.

— Два, — сказал Скорев. — Но я тебе плачу вперёд.

— Вперёд? — Лоренц сразу перестал торговаться. — Вперёд — это дело другое. Вперёд — извольте.

Скорев отсчитал ему двадцать восемь крейцеров и подумал, что за одну эту фразу — «вперёд» — тут, похоже, можно выторговать что угодно.

Комната была под самой крышей, с крохотным окном без стекла, закрытым ставнем. В ней стояла кровать с тюфяком, набитым чем-то, что слежалось в камень, и больше ничего. Пахло мышами.

Михель натаскал наверх его вещи, потом принёс лохань и два ведра горячей воды, потом свечу. Работал он быстро и всё время говорил.

— ...а вы, господин, надолго к нам? У нас-то посмотреть нечего, у нас, почитай, ничего и нету. Раньше-то, до язвы, ярмарка была на Мартына, вот тогда да, а теперь и ярмарки нет...

— Иди, — сказал Скорев.

— Так я...

— Иди. Утром разбудишь.

Мужик поклонился и вышел, притворив дверь.

Скорев остался один.

Он сел на кровать и долго сидел, не двигаясь, глядя на свечу. Потом стал раздеваться.

Раздевался он медленно, потому что левой рукой было неудобно, и потому что каждая вещь была новая и требовала разбирательства. Пояс с мечом. Кольчуга — она сползла на пол с тяжёлым металлическим шорохом, и он подумал, что надо будет её протереть и смазать, и снова не знал, откуда он это знает. Стёганка. Мокрая рубаха.

Он остался голым в холодной комнате и подошёл со свечой к стене, где на побелке было хоть какое-то подобие света.

И стал себя рассматривать.

Тело было чужое и было хорошее. Тяжёлое, плотное, широкое в кости. Мышцы на плечах и груди были не спортивные, а рабочие — такие нарастают у людей, которые двадцать лет каждый день носят на себе пуд железа. Живот подобранный. Ноги кривоватые, крепкие.

И всё это было исписано, как амбарная книга.

Он поднял свечу.

Слева, под ключицей, сидел неровный белый рубец сантиметров пять. Болью, тебя стащили с коня.

Через левое предплечье шёл длинный шрам, старый, широкий, зашитый кое-как. Мальбург, пролом стены.

Под правым соском — маленькая круглая вмятина, будто вдавили пальцем. Арбалет, ты был в кирасе, повезло.

На левом бедре — рваный рубец с оспинами вокруг. Тройенбург.

Он поворачивался, светил, находил новый и получал ответ. Ответы приходили ровно и без чувства, как справка. Он не помнил ни Мальбурга, ни Тройенбурга. Он просто теперь знал, что там было.

Всего он насчитал одиннадцать. Из них четыре — такие, от которых обычно умирают.

Скорев поставил свечу на пол и сел на кровать.

«Тридцать лет, — подумал он. — Одиннадцать раз. И вот — цел».

Он сидел голый в холодной комнате чужой харчевни, в чужом веке, в чужом теле, которому пятьдесят лет, и вдруг понял очень ясную вещь, которая раньше как-то не складывалась.

Тот человек, чьё это тело, был очень хорош в своём деле.

Не удачлив — удачливых столько раз не рубят. Именно хорош: из одиннадцати таких попаданий выйти живым нельзя иначе, как умея. И это умение сейчас лежало у него в руках, в спине, в посадке, в том, как сама собой натягивалась подпруга и как рука перехватывала повод у самого кольца.

А головы у того человека, судя по всему, не было.

Потому что человек, который тридцать лет служит, тридцать лет рискует и одиннадцать раз получает железо, — и приходит домой с одним конём, одним мечом и тремя талерами в кошеле, — это человек, у которого руки золотые, а голова пустая.

«Ну, — сказал себе Скорев. — Значит, голова будет моя».

Он лёг.

Тюфяк был жёсткий, простыня — сырая, одеяла не было, и он накрылся плащом. Клопы объявились через четверть часа.

Он лежал в темноте и слушал, как внизу гудят голоса поденщиков, как трещит очаг, как по крыше в шаг над его лицом сыплется дождь.

И считал.

Двадцать восемь крейцеров он отдал за две недели. Значит, с харчами, дровами и овсом выйдет крейцеров пять в день. Пять в день — это сто пятьдесят в месяц. У него было, если сложить всё серебро и медь, около двухсот шестидесяти крейцеров, не считая марки.

Полтора месяца.

Он лежал и катал эту цифру так и эдак, и она не менялась. Полтора месяца, и он — нищий верхом на дорогом коне и с дорогим мечом, то есть покойник, потому что нищий с такими вещами живёт ровно до первой удобной канавы.

Продать меч? На вырученное можно жить долго. Но продать меч в этой дыре не за что и некому, а главное — человек без меча тут не человек.

Наняться? К кому? Кто здесь платит?

Он вспомнил двоих на заставе, которые жарили морковь третий месяц без жалованья, и понял, что вопрос «кто здесь платит» — это и есть главный вопрос, и что ответ на него надо не угадывать, а выяснять.

«Ладно, — подумал он. — Значит, так. Недельку сижу тихо. Смотрю. Слушаю. Считаю. Кто тут кому платит, кто у кого крадёт, кто кого боится и кто чего хочет. А потом продам им единственное, что у меня есть».

Он повернулся на правый бок, потому что на левом не давало плечо.

Дождь шёл всю ночь.

Глава третья. Харчевня

Он прожил в Малой Вельде шесть дней и за эти шесть дней не сделал ничего.

То есть так это выглядело со стороны. Приезжий господин вставал поздно, ел, сидел у очага, ходил смотреть коня, ездил раза два куда-то и возвращался, и снова сидел. К нему приглядывались, потом привыкли, потом перестали замечать.

Скорев именно этого и добивался.

Он делал то, что делал всю жизнь перед работой, и делал по порядку, который знал наизусть: сначала местность, потом люди, потом связи между ними, и только потом — решение. Спешить было нельзя. Спешат те, у кого есть запас; у него запаса не было, и оттого спешить было нельзя тем более.

Он начал с харчевни, потому что харчевня — это перекрёсток, а на перекрёстке видно всё.

Утром здесь было пусто: поденщики уходили затемно. Днём заходили проезжие — не часто, два-три человека. К вечеру набивалось битком: те же поденщики, возчики, какие-то мелкие торговцы с коробами. Все они ели одно и то же — горох, сваренный на воде, без соли и без сала, — и пили пиво, которое Скорев в первый вечер попробовал и отставил.

— Из чего ты его варишь? — спросил он Лоренца.

— Сам варю, господин, — сказал хозяин с обидой. — Все пьют.

— Все пьют, потому что другого нет.

— И то верно, — легко согласился Лоренц.

Скорев сидел в углу, у стены, спиной к бревну, лицом к двери — сел так в первый же вечер, не думая, а потом заметил, что сел, и усмехнулся. Отсюда он видел всех и слышал почти всех.

Он слушал.

Разговоры были одни и те же, вечер за вечером, и это было хорошо: то, что повторяется, — это и есть правда.

Говорили о воде. Вода стояла на полях третий год, и третий год не было хлеба, а тот, что был, съедали ещё до Рождества. Говорили о дровах: заборы кончились, из леса возить не дают, потому что лес баронский, а порубка — восемь крейцеров штрафа. Говорили о барщине: раньше ходили три дня в месяц, теперь четыре, а иной раз и пять, и никто не знает, отчего прибавили, потому что уговор был на три.

Говорили о старосте — понизив голос.

Говорили об управляющем — совсем тихо.

А на четвёртый вечер Скорев впервые услышал, как заговорили о пропавших, и услышал, как разговор оборвали.

Мужик, сидевший через стол, рассказывал соседу — не ему, а соседу, но громко, — что у Крюгеров-то с той недели дочки нет, ушла на выселки к тётке и не дошла, и что это уже, если считать с зимы...

И тут второй мужик наступил ему на ногу под столом.

Скорев увидел это движение — он сидел так, что видел под столом, — и увидел, как первый осёкся на полуслове, глянул в его сторону, и как оба они принялись очень старательно есть свой горох.

Он не стал спрашивать. Он запомнил.

Расспрашивать вообще нельзя было. Расспрашивающий чужак в деревне — это либо доносчик, либо вор, и в обоих случаях с ним перестают говорить. Поэтому Скорев не задал за шесть дней ни одного прямого вопроса.

Он делал иначе.

Он заводил Михеля.

Михель оказался сокровищем. Он говорил не переставая — за работой, у коня, за едой, — и говорил обо всём подряд, без разбора и без осторожности, потому что был из тех людей, которым важно не что сказать, а чтобы слушали. Скорев слушал. Изредка он вставлял слово, и от этого слова Михеля сносило в нужную сторону, и он ехал туда ещё полчаса.

— ...а Тённис, староста наш, он мужик хваткий, — рассказывал Михель, обтирая коню ноги. — Он при старом бароне ещё ставлен. Все его не любят, а что толку-то? Он всё одно ставлен.

— За что не любят?

— Так как же его любить. — Михель выпрямился. — Вот я, к примеру. У меня надел — три моргена, из них полтора под водой. Так подать-то мне считают со всех трёх. Я говорю: Тённис, помилуй, там вода стоит, там ничего не родилось. А он: не моё дело, в книге записано три.

— А кто пишет книгу?

— Он и пишет. Он грамотный.

— А проверяет кто?

Михель посмотрел на него так, как смотрят на человека, который спросил, кто проверяет, восходит ли солнце.

— Господин управляющий, — сказал он. — А кто ж ещё.

Скорев кивнул.

— А управляющего кто?

Михель засмеялся.

Он смеялся долго и с удовольствием, и, отсмеявшись, сказал:

— Ох и шутник вы, господин.

На третий день Скорев съездил в Большую Вельде.

Она стояла в миле, на сухом взгорке, и была раза в три больше. Тут была кирха с колокольней, кузница, коновал, лавка, где торговали солью и железом, и настоящий трактир — не харчевня, а двухэтажный дом с воротами, с большим двором, полным телег, и с фонарём над въездом.

И тут же, напротив кирхи, стоял каменный дом.

Скорев остановил коня и смотрел на него довольно долго.

Дом был в два этажа, под черепицей, с медным желобом по краю крыши и — это его особенно заинтересовало — со стёклами в окнах. Не бычьим пузырьём, не ставнями: настоящими стёклами в свинцовых переплётах. Ворота были новые, дубовые, с калиткой на кованых петлях. Во дворе стояла конюшня.

Он объехал вокруг и посчитал.

В деревне на сорок с лишним дворов, где заборы разобрали на дрова, стояло ровно два каменных строения: кирха и этот дом.

Скорев не знал, сколько тут стоит стекло. Но он видел, что во всей деревне стекло было ещё только в двух окнах кирхи, и вывод из этого получался простой и не требующий счёта.

Мимо прошла баба с вязанкой. Скорев тронул коня следом и поехал рядом шагом.

— Матушка, а чей это дом?

Баба глянула на него, на коня, на меч, и поклонилась.

— Так господина управляющего, господин. Господина Кремпа.

— Богатый, видно, человек.

— Богатый, — сказала баба и пошла быстрее.

Он не стал её догонять.

Трактир Аарона бен Иешуа Скорев тоже осмотрел, но внутрь заходить не стал в первый раз — постоял у ворот, посчитал телеги во дворе (одиннадцать), посмотрел, кто входит и выходит.

Выходили и входили не мужики. Мужиков там не было вовсе — у мужиков не было денег. Выходили приказчики, мелкие торговцы, возчики с чужими гербами на телегах, двое в добром платье, по виду городские.

Скорев отметил: в деревне, где нет хлеба, стоит трактир на одиннадцать телег, и он полон.

Значит, деньги в этой земле есть. Просто они текут не туда, где живут люди.

Он заехал ещё к кирхе и постоял внутри. Кирха была бедная до неприличия: стены голые, алтарь простой, на приступке — оплывший огарок. Пахло сыростью. У стены стоял поп — тщедушный, подслеповатый, в застиранной сутане и в деревянных башмаках на босу ногу, — и, щурясь, разбирал что-то в толстой книге.

Он услышал шаги, поднял голову и подошёл, вглядываясь в лицо.

— Доброго дня, сын мой.

— И вам, святой отец.

— Вы проезжий?

— Постоялец. В Малой Вельде.

Поп покивал и продолжал вглядываться — не подозрительно, а просто оттого, что плохо видел.

— Не помню вас в приходе, — сказал он мягко.

Скорев посмотрел на его башмаки. Деревянные, мужицкие, и на босу ногу — в ноябре.

Он полез в кошель, достал крейцер и положил на приступку у огарка.

— На свечи, — сказал он.

Поп посмотрел на монету, потом на него.

— Спаси вас Бог, — сказал он тихо. — У нас редко.

Скорев вышел и, садясь на коня, подумал, что во всей этой земле он видел пока ровно двух человек, у которых нет денег и которые при этом не воруют: этого попа и тех двоих на заставе.

Про пропавших он выпросил у Михеля, и выпросил не сразу.

Он подвёл к этому за два дня, окольно: сперва про дороги, потом про то, безопасно ли тут ездить одному, потом про дезертиров. И только на третий, когда Михель разошёлся и стал рассказывать, как в позапрошлом году у них увели лошадь, Скорев спросил между делом:

— А люди у вас пропадают?

Михель осёкся на полуслове.

Он стоял с щёткой в руке и молчал, и Скорев видел, как у него бегают глаза.

— Бывает, — сказал он наконец.

— Часто?

— Господин... — Михель оглянулся на пустой двор. — Вы бы не спрашивали.

— Я не староста и не управляющий, — сказал Скорев. — Мне доносить некому.

Михель подумал.

— С Рождества, — сказал он тихо. — Как язва отошла, так и пошло. Сперва думали — разбежались, голод же был, многие ушли. А потом стали замечать.

— Сколько?

— У Крюгеров дочку. До того парня с выселок, он на мельницу шёл. До того бабу с дитём, те чужие были, на богомолье шли. И двое проезжих, тех и не считал никто. — Михель зачем-то перекрестился щёткой. — Дык у нас проезжих и раньше пропадало, дороги-то какие.

— Пятеро.

— Ну, ежели считать... — Михель сглотнул. — Пятеро.

— И что говорят?

— А ничего не говорят, — сказал Михель. — Говорить страшно.

— Кого бояться?

Мужик посмотрел на него и не ответил. Он взял коня под уздцы и увёл в стойло, хотя коня уже минут десять как надо было оставить в покое.

Была ещё дочь Лоренца — высокая девка лет двадцати со светлыми косами, которая носила еду, гоняла поденщиков и разговаривала со всеми одинаково, как с батраками, с отцом тоже. На третий вечер она поставила перед Скоревым миску и сказала, подбоченившись:

— Шестой день сидите.

— Сижу.

— И чего высиживаете?

Скорев поднял на неё глаза и не ответил.

Он посмотрел на неё ровно столько, сколько нужно, чтобы стало понятно: разговора не будет, — и снова взялся за ложку. Девка постояла, фыркнула и пошла к другому столу.

Она была ничего собой, и она была бойкая, и она про него уже что-то поняла — он это видел. Именно поэтому он и не стал с ней говорить.

Он держался этого правила всю жизнь, и правило было простое: где баба, там разговоры, а где разговоры, там ты уже не сам по себе. Он видел, как на этом горели люди умнее его. Умный, битый, осторожный мужик пять лет ходит по краю и не оступается, а потом заводит себе бабу — и через полгода про него знают всё: где спит, сколько имеет, чего боится. Не потому, что баба подлая. Потому, что бабе надо с кем-то поговорить.

А у него было тридцать шесть дней и три талера, и он не мог себе позволить, чтобы про него знали.

Так что он ел свой горох и смотрел в стол.

На пятый вечер Скорев увидел то, ради чего, в общем, и сидел шесть дней.

Дело было к ночи, харчевня уже пустела. Он допивал своё пиво в углу, когда во двор въехали двое верхом.

Они не были похожи ни на возчиков, ни на торговцев. Оба в добрых плащах, оба на приличных лошадях, оба не местные. Один остался во дворе с лошадьми, второй вошёл, не садясь, коротко переговорил с Лоренцом — Скорев не слышал слов, только видел, как хозяин закивал, — и они вдвоём ушли за перегородку, где была кухня.

Их не было около четверти часа.

Потом приезжий вышел, сел на коня, и оба уехали — не назад, откуда приехали, а на восток, в сторону Большой Вельде.

Скорев остался сидеть.

Он не двинулся с места и не задал ни одного вопроса. Он только запомнил: пятый день, поздний вечер, двое чужих, четверть часа за перегородкой, уехали на восток.

А через два часа, когда в харчевне все уже спали вповалку на полу и лавках, он услышал, как по деревне идут телеги.

Он поднялся, отворил ставень и высунулся в холод.

Ночь была чёрная. По улице шли три подводы — он различил их по скрипу, по чмоканию грязи и по неяркому пятну фонаря на первой. Подводы шли гружёные — это слышно по звуку, гружёная телега идёт иначе. Рядом с первой шёл человек.

Скорев стоял у окна и слушал, пока звук не растворился.

Телеги шли не на восток, к Большой Вельде, где стояли и мельница, и амбар, и куда возили зерно.

Они шли на север, в лес.

Он закрыл ставень, сел на кровать в темноте и просидел так с полчаса.

Потом достал кошель и пересчитал деньги.

Он пересчитывал их каждый вечер, и каждый вечер их становилось меньше ровно на столько, на сколько он рассчитывал, и это было единственное во всём этом мире, что вело себя предсказуемо.

За шесть дней ушло тридцать четыре крейцера — с комнатой, харчами, овсом, дровами и Михелем.

Пять с половиной в день.

Он посчитал ещё раз, уже медленно.

Если ничего не делать — сорок пять дней. Если продать коня — можно жить полгода, но без коня он в этой земле уже не господин, а бродяга, и первый же дорожный разъезд спросит его, откуда у бродяги меч, и не станет слушать ответ. Если продать меч — то же самое, только раньше.

Значит, сорок пять дней.

«Сорок пять дней, — подумал Скорев, — чтобы продать здесь единственное, что у меня есть. А есть у меня, — он усмехнулся в темноте, — тридцать лет чужого умения убивать людей и пятьдесят лет своего умения считать».

Он лёг.

Клопы объявились, как всегда. Он к ним уже привык.

Всё случилось на седьмой день, под вечер, и случилось быстро.

Скорев сидел в своём углу и чинил ремень на ножнах — Михель приволок ему шило и дратву, — когда во дворе стало шумно, и в харчевню вошли трое.

Он поднял голову и сразу перестал шить.

Трое были солдаты. Не мужики, не бродяги — солдаты. Он понял это раньше, чем разглядел, и понял по тому, как они вошли: первый шагнул в сторону от двери и встал, давая место остальным и не загораживая себе обзор. Так входит человек, которого этому учили.

Они были оборванные. У всех троих под грязными плащами угадывалось железо — не доспехи, а так, куски: у одного нагрудник без ремней, подвязанный верёвкой, у другого кольчужный ворот. У первого на поясе висел фальшион, у второго — тесак, третий держал в руках короткое копьё с обломанным и заново примотанным древком.

Лица были худые.

— Хозяин! — сказал первый. — Пива нам. И жрать.

Лоренц выкатился навстречу, кланяясь и улыбаясь.

— Сейчас, господа, сейчас, — залопотал он. — Пива сейчас. Только у нас, того... с деньгой как?

— С деньгой, — сказал первый, — никак.

Он сказал это спокойно, глядя хозяину в лицо, и в харчевне стало тихо.

И в этот момент Скореву сжало грудь.

Оно пришло ровно и сильно, как приходило всегда, и он замер с шилом в руке.

Он посидел так две-три секунды, слушая себя.

Так.

Опасность была не в этих троих. Он видел троих голодных дезертиров, у которых на всё про всё один фальшион, один тесак и копьё на примотанном древке, и у которых нет ни шлемов, ни щитов, и на такое сжатия не бывает.

Значит, дело в другом.

И он понял, в чём, — понял так же быстро, как читал местность: трое пришли попробовать.

Их послали или они пришли сами, но пришли они пощупать, есть ли тут кто-нибудь, кто может им ответить. Если сегодня им нальют даром и дадут уйти, то через неделю их будет восемь, а через месяц они станут ходить сюда как домой, и брать будут уже не пиво.

Такое он видел. Такое кончалось всегда одинаково.

Скорев отложил шило.

Он не встал сразу. Он подождал, пока Лоренц начнёт метаться, пока первый дезертир упрёт руку в бок, пока по харчевне пройдёт эта нехорошая тишина, когда все смотрят в свои миски.

А потом сказал негромко, со своего места:

— Из какой роты, братья-солдаты?

Все трое повернулись к нему.

Он сидел в углу, в одной рубахе, без меча — меч висел на стене за спиной, — сидел с ножнами и дратвой на коленях, и смотрел на них снизу вверх.

— Чего? — сказал первый.

— Спрашиваю, из какой роты. — Скорев говорил спокойно, буднично, как спрашивают своих. — Кто ротмистр? Кто корпорал?

Дезертиры переглянулись.

Скорев видел, как у них поменялись лица. Это был очень старый приём, и он работал всегда, потому что бил не в человека, а в то, чем человек был раньше. Три минуты назад они входили сюда как хозяева. Теперь их спросили по-уставному, и они на секунду снова стали теми, кем были два года назад, — солдатами, которых спрашивает кто-то старший.

— А ты кто такой? — спросил первый, но спросил уже не так.

— Я такой же, — сказал Скорев. — Только со службы ушёл по-честному, а вы, я гляжу, нет.

— Нам полгода не плачено! — резко сказал третий, тот, что с копьём. Он был помоложе. — Полгода!

— Знаю, — сказал Скорев.

И это тоже было правдой, и это они слышали.

— У вас теперь как: до холодов по дорогам, а зимой куда? — продолжал он всё так же ровно. — Зимой вы либо к кому-нибудь наймётесь, либо сдохнете под забором. Вы это и без меня знаете. Только вот вы сейчас взяли не тот след.

— Это какой же?

— Такой. — Скорев кивнул на Лоренца. — Он вам сегодня нальёт даром. И завтра нальёт. А послезавтра он поедет к своему барону и скажет: господин, в Малой Вельде трое, обедают деревню. И барон пошлёт людей. И людей будет не трое, а двадцать, и лошади у них будут, и вас загонят в лесу, как кабанов, и повесят вон там, на развилке, где двое уже висят. Ты видел, что там на развилке висят двое?

Первый молчал.

— Видел, — сказал молодой.

— То-то.

Скорев положил ножны на лавку.

— А в двух днях отсюда, — сказал он, — на юге, за рекой, стоит город. Там чума была, город наполовину пустой, и там всю зиму будут набирать людей — стены сторожить, ворота сторожить, покойников возить. Плохая работа, но платят и кормят. Дойдёте — перезимуете.

Он говорил и видел, как оно ложится. Дезертиры слушали. Молодой уже слушал по-настоящему.

И тут первый, который всё это время терял лицо и знал, что теряет, решил его вернуть.

Он шагнул к столу и хлопнул ладонью:

— Ты, старый, будешь нас учить...

Дальше он ничего не сказал.

Скорев не вставал и не тянулся к оружию. Он просто взял со стола глиняную кружку, и, когда рука дезертира легла на доски, коротко и без замаха ударил кружкой по пальцам.

Хрустнуло.

Дезертир взвыл и отдернул руку, а Скорев уже стоял — он поднялся, пока тот выл, — и стоял так, что стол был между ними, а справа от него была стена, а слева — лавка, и подойти к нему можно было только с одной стороны, и на этой стороне стоял он сам.

В левой руке у него была кружка. Правая лежала на топорике за поясом.

— Сядь, — сказал он.

В харчевне не дышали.

Двое других не двинулись. Молодой опустил копьё остриём в пол — не бросил, а именно опустил, и это Скорев отметил.

— Сломал... — просипел первый, держа кисть.

— Не сломал. Отбил, — сказал Скорев. — Через неделю пройдёт. Я нарочно кружкой, а не топором, потому что мне драться с вами не за что.

Он выждал ещё несколько секунд и убрал руку с топорика.

— Хозяин, — сказал он, не оборачиваясь. — Три пива и хлеба с салом на троих. Я плачу.

Лоренц кинулся за перегородку, будто его пнули.

Дезертиры смотрели на Скорева.

— С чего это? — спросил молодой.

— С того, что три пива стоят два крейцера, — сказал Скорев, садясь на своё место, — а драться с тремя мне дороже. Я жадный.

Молодой вдруг фыркнул.

Он засмеялся первым, а потом засмеялся и второй, тот, что с тесаком, и напряжение в харчевне лопнуло, и стало слышно, как в очаге треснуло полено. Первый не смеялся — он сидел на лавке, зажав кисть между колен, и смотрел в стол.

Они поели. Ели быстро и молча, как едят люди, которые не помнят, когда ели прошлый раз.

Уходя, молодой задержался у двери.

— Господин, — сказал он. — А город-то как называется?

— Кроненфельд, — сказал Скорев. — Через мост и на полдень. Только в самый город не суйтесь, там ещё язва может ходить. Спрашивайте на заставе, кто нанимает.

— Спасибо.

— Иди.

Дверь закрылась.

В харчевне ещё с минуту было тихо, а потом заговорили все сразу.

Скорев вернулся к своему ремню и стал шить дальше. Руки у него слегка подрагивали — как всегда после. Он подождал, пока пройдёт.

Подошёл Лоренц и сам, не спрашивая, поставил перед ним кружку.

— Это от заведения, господин.

— Я за неё всё равно не заплачу.

— Да я знаю, знаю. — Хозяин потоптался, вертя в руках свою зелёную шапочку, и наконец сказал: — Вы их не убили.

— Не за что было.

— У нас бы убили, — сказал Лоренц. — У нас за такое убивают.

— Знаю, — сказал Скорев.

Хозяин ещё постоял, будто хотел спросить что-то, и не спросил, и ушёл за перегородку.

Ночью он лежал и слушал дождь и думал, что всё сделал верно и что всё сделал зря.

Верно — потому что трое ушли, деревня цела, и ему это ничего не стоило, кроме двух крейцеров и одной отбитой руки.

Зря — потому что тихо сидеть больше не выйдет.

Он знал, как это работает. К утру про него будет знать вся Малая Вельде. К вечеру — Большая. А послезавтра или через день это доедет туда, куда доезжает всё, и там кто-нибудь

скажет: а в Малой Вельде сидит в харчевне отставной служилый, немолодой, при коне и железе, и на днях он один, без оружия, выставил троих солдат и даже никого не порезал.

И тогда либо к нему придут, либо за ним придут.

Скорев лежал в темноте и считал, сколько у него осталось: тридцать восемь дней.

«Ну и хорошо, — подумал он. — Пусть приходят. Мне-то как раз и надо, чтобы пришли».

И заснул.

Глава четвёртая. Предложение

Он приехал на третий день, к полудню.

Скорев сидел на крыльце харчевни и смотрел, как Михель чистит коня, когда на улице сперва залаяли собаки, а потом стало слышно, что едут двое.

Он не встал. Он только чуть подвинулся так, чтобы за спиной было бревно, и положил руки на колени.

Первым во двор въехал огромный человек.

Он был велик по-настоящему: сидя в седле, он был выше, чем нужно, и лошадь под ним казалась маловатой. Кольчужный обер с капюшоном, поверх — чистое сюрко, белое с чёрным, и на груди чёрная кабанья голова. Шлем начищен. Меч на поясе старый, но в добрых ножнах. Усы седые, длинные, свисали чуть не до груди, и подбородок был свежевыбрит.

Он был единственным человеком, которого Скорев видел в этой земле за девять дней и который выглядел прилично.

За ним ехал стражник — обыкновенный, в стёганке.

Великан остановил лошадь посреди двора, посмотрел на Скорева, на коня, на Михеля с щёткой, потом опять на Скорева. Слез — тяжело, но ловко, — бросил повод своему и подошёл.

В трёх шагах он остановился и коротко поклонился. Не низко. Ровно настолько, чтобы это был поклон.

— Здрав будь, господин, — сказал он.

Голос у него был под стать росту.

— Для тебя я не господин, — сказал Скорев. — Но и ты здрав будь, брат-солдат.

Великан посмотрел на него внимательно.

— Отчего же не господин?

— Оттого что я такой же служилый, как ты. Только со службы ушёл.

— Оно и видно, — сказал великан.

И сел рядом, на нижнюю ступеньку, — так, что теперь его голова была на одном уровне с головой Скорева. Скорев отметил и это.

— Меня зовут Дитрих Хазе. Я сержант господина барона фон Вельде.

— Виктор Скорев.

— Скорев? — Хазе повторил и поморщился, будто прожевал что-то жёсткое. — Ишь ты. Ты из восточных, что ли?

— Отец был с востока.

— То-то. У нас такое имя никто не выговорит. — Хазе подумал. — Скорев.

— Пусть будет Скорев, — сказал Скорев. — Мне не привыкать.

Он сказал это и внутри у себя усмехнулся, потому что имя вышло чужое, а привыкать ему было и правда не впервой.

Хазе помолчал, разглядывая двор.

— Слышал я, — сказал он наконец, — что тут на днях трое солдат объявились. Из беглых.

— Были такие.

— И что ты их выставил.

— Выставил.

— Один?

— Один.

— И никого не порезал?

— Не за что было.

Хазе повернул голову и посмотрел на него в упор. Глаза у него были маленькие, светлые, спрятанные под густыми бровями, и глядели неглупо.

— Врут, значит, — сказал он. — Мне сказали, ты одному руку сломал.

— Отбил пальцы. Кружкой.

— Кружкой, — повторил Хазе. И вдруг коротко хмыкнул. — Кружкой, значит.

Они помолчали.

— Ты где служил? — спросил Хазе.

Скорев не торопился с ответом. Он потянулся мыслью, как тянутся в темноте к полке, и полка была на месте.

— Начинал в лучниках, — сказал он. — Потом арбалет. Потом в гвардии, у де Мортенов. Пять лет.

— В гвардии? — Хазе поднял бровь. — У герцога?

— Корпоралом.

Он сказал это ровно, без нажима, и увидел, как здоровяк переменялся в лице. Не то чтобы зауважал сразу, но что-то у него внутри переставилось.

— Гвардия, — сказал Хазе. — А сюда как?

— Ушёл по ранению. Ехал к своим, да не доехал.

— Куда ехал-то?

— Далеко, — сказал Скорев. — И, похоже, зря.

Хазе покивал, будто понял.

Он и вправду понял — Скорев видел, что понял, только по-своему: старый служака услышал историю, которую слышал сто раз, и ничего в ней странного не нашёл.

— А сам-то ты где был? — спросил Скорев.

— Я? — Хазе почесал ус. — Я всю жизнь тут. При старом бароне ещё поставлен. У Заальфельда был, при Штайнфурте был...

— При Штайнфурте?

Скорев спросил раньше, чем подумал.

— Был, — сказал Хазе. — А что?

— Ничего. — Скорев помолчал, слушая, как в нём отзывается это слово. Отозвалось коленом. — Я там тоже был.

— Вон как. — Хазе оживился. — А где стоял?

— Не помню, — честно сказал Скорев. — Я там с коня упал. Меня оттуда в телеге вывезли.

Хазе засмеялся. Смеялся он громко, гулко, запрокинув голову, и Михель у коня перестал чистить и обернулся.

— Оно и правильно, — сказал сержант, отсмеявшись. — Кто там что помнит. Я вот помню только, что дождь шёл третьи сутки и жрать не давали.

Так они посидели ещё немного, и Скорев ждал, потому что знал, что человек не проехал милю из Большой Вельде, чтобы поговорить про дождь у Штайнфурта.

— Ну, — сказал он. — Говори, зачем приехал.

Хазе не стал прикидываться.

— Господину барону нужен служебный человек, — сказал он.

— У барона нет своих?

— Свои есть. — Хазе смотрел прямо перед собой, во двор. — Свои не годятся.

— Отчего?

— Оттого, что свои, — сказал Хазе.

Скорев подождал.

— Тут, брат-солдат, дело такое, — заговорил наконец сержант. — В феоде порядка нет. Я тебе прямо говорю, чего скрывать, ты и сам, поди, за девять дней насмотрелся. Мужик обнищал, подати не собираются, барщину подняли, а толку с неё нет. Господин барон в долгу.

— В большом?

— В большом. — Хазе помолчал. — А к Мартынову дню платить.

— Кому?

— Графу подать. — Он подумал и добавил: — И ещё кое-кому.

«Вот, — подумал Скорев. — Первое».

— Сколько?

Хазе покосился на него.

— Много.

— Ты не темни. Ты меня зовёшь на работу, так и говори, что за работа и на какие деньги.

Сколько барон должен графу?

Сержант пожевал ус.

— Шестьдесят талеров, — сказал он.

Скорев не пошевелился.

Он взял эту цифру и стал её вертеть.

Он не знал, каков доход этой земли. Но он видел эту землю девять дней. Сорок с лишним дворов в Малой Вельде, побольше в Большой, две деревни, мельница, лес, трактир на одиннадцать телег, кузница, лавка, и всё это должно было приносить хоть что-то, и он готов был поклясться, что шестьдесят талеров эта земля даёт — не легко, но даёт.

А раз даёт, а барон в долгу, — значит, деньги где-то по дороге сворачивают.

— И сколько дней до Мартына? — спросил он.

— Шестнадцать.

— А денег нет.

— Нет.

— И взять неоткуда.

— Занято на два года вперёд, — сказал Хазе. — Господин барон подписывал бумаги.

Ему приносили — он подписывал.

— Кто приносил?

Хазе не ответил.

Скорев не стал повторять вопрос. Он и так знал ответ — он видел этот ответ три дня назад, в два этажа, под черепицей, со стёклами в свинцовых переплётах.

— Так чего барон хочет? — спросил он.

— Чтоб к Мартынову дню деньги были, — сказал Хазе просто.

— Откуда?

— Оттуда, куда они уходят. — Сержант повернулся к нему всем корпусом. — Слушай, брат-солдат. Я человек простой и говорить складно не умею. Скажу как есть. В феоде воруют. Кто ворует — тебе всякий мужик скажет, а доказать никто не может, и взять никого нельзя. Господину барону нужен человек, который придёт, посмотрит книги, потрясёт кого надо, найдёт деньгу и принесёт её к сроку. И чтоб человек этот был не отсюда.

— Почему не отсюда?

Хазе посмотрел на него так, будто удивился, что приходится объяснять очевидное.

— Потому что у нас тут все свои, — сказал он. — Староста в Малой Вельде — Тённис. Староста в Большой — его двоюродный брат. Мельник за Тённисом три года как женат на его племяннице. Кузнец должен мельнику. Тут, брат-солдат, все всем родня, кум, сват или должник. Кого ни поставь — он через неделю сядет со своими за один стол.

— А ты?

— Что — я?

— Ты барону кто? — спросил Скорев. — Свой или не свой?

Хазе помолчал.

— Я барону сержант, — сказал он. — Тридцать первый год.

Это был хороший ответ, и это был ответ не на тот вопрос.

Скорев кивнул, будто удовлетворился.

— Ладно, — сказал он. — А платить кто будет и сколько?

— Господин барон не поскупится.

— Это не цифра.

— Он тебе сам скажет.

— Хорошо. — Скорев потянулся, разминая плечо. — А теперь скажи мне вот что. У барона до меня были служебные люди на такое дело?

И вот тут Хазе не ответил.

Он не отвернулся, не заёрзал, не стал врать — он просто помолчал на две секунды дольше, чем следовало, и за эти две секунды сказал всё.

— Были, — сказал он потом.

— И?

— И не сладились.

— А куда они делись?

— Один ушёл, — сказал Хазе.

— А второй?

Сержант посмотрел на него.

— А второй помер.

И в эту минуту Скореву сжало грудь.

Оно пришло, как приходило всегда: ровно, сильно, будто под грудиной затянули ремень на одну дырку. Он сидел на крыльце в трёх шагах от человека, который приехал звать его на работу, и слушал себя.

Никакой опасности вокруг не было.

Хазе не собирался его убивать. Стражник у коней зевал. Михель чистил коня. Было светло, полдень, во дворе стояли телеги.

Значит, опасность была в том, что сейчас говорилось.

«Ага, — подумал Скорев. — Понятно».

Он посидел неподвижно, пока не отпустило, и сказал:

— Мне надо подумать.

Хазе поднял брови.

— Чего тут думать?

— Есть чего.

— Тебе, брат-солдат, дают службу, — сказал сержант, и в его голосе первый раз проступило что-то похожее на нажим. — Кормёжку, жалованье и место при господине. Ты гляди, зима идёт.

— Знаю, что идёт.

— Так чего думать?

— Того, — сказал Скорев, — что я тридцать лет прожил, потому что не хватался за первое, что дают.

Он сказал это спокойно, и Хазе не нашёл, что ответить.

— До завтра, — сказал Скорев. — Завтра к полудню дам ответ.

Сержант поднялся. Поднявшись, он опять стал огромным.

— Ну, гляди, — сказал он. — Только ты, брат-солдат, вот что учти. Я тебе про это дело сказал не потому, что мне тебя жалко. Мне велено найти человека, и я нашёл. Не пойдёшь ты — пойдёт другой. Дурак какой-нибудь пойдёт, и его убьют, а барон останется без денег и без человека.

— Ты хотел сказать «и его убьют»?

Хазе посмотрел на него сверху вниз.

— Я сказал, что сказал, — ответил он.

И пошёл к лошади.

Он уже был в седле, когда Скорев его окликнул:

— Хазе.

— Ну?

— Староста Тённис тебе кто?

Сержант натянул повод, и лошадь переступила.

— Свояк, — сказал он. — На сестре моей женат.

И поехал со двора.

Скорев остался сидеть на крыльце.

Он сидел долго, и Михель, закончив с конём, покрутился рядом, потоптался и наконец не выдержал:

— Господин.

— Ну.

— А чего он приезжал-то?

— Работу предлагал.

— Работу?! — обрадовался Михель. — Так это ж хорошо! Это ж...

— Помолчи, — сказал Скорев. — Сядь.

Михель сел на нижнюю ступеньку, туда, где только что сидел Хазе.

— Ты в Малой Вельде всю жизнь?

— Всю, господин. Тут и родился.

— Тогда рассказывай. Про Тённиса. Только не про то, что он вор, — это я уже знаю.

Про то, кто ему родня.

Михель просиял. Это была его любимая тема.

Скорев слушал сорок минут.

Он слушал и складывал, и к концу сорока минут у него в голове стояла картинка, какую он рисовал раньше на планшете карандашом, — только вместо огневых точек тут были люди, а вместо секторов обстрела — родство.

Тённис, староста Малой Вельде. Двоюродный брат — староста Большой. Сестра Тённиса замужем за Хазе. Племянница — за мельником. Мельник берёт помол натурой и сдаёт зерно в амбар, а амбар считает староста. Кузнец должен мельнику восемь талеров и оттого молчит про всё на свете. Лавочник в Большой Вельде — тестю старосты кум.

И над всем этим — управляющий Бальтазар Кремп, у которого единственный каменный дом.

— А Кремп им кто? — спросил Скорев.

— А никто, — сказал Михель. — Кремп не наш. Он городской.

— И давно он тут?

— Четвёртый год.

— И сразу дом каменный поставил?

Михель заулыбался.

— На третий год, — сказал он с явным удовольствием. — Три года покряхтел — и поставил.

Вечером он снова взялся за Михеля.

Взялся не сразу и не в лоб. Он послал его за пивом, потом дал сала, потом велел сесть и рассказывать, что за люди служили у барона до сего дня, — просто так, для разговора, потому что-де надо знать, к кому едешь.

Михель охотно начал про конюха, про повара, про старого писаря, который помер о позапрошлом Рождестве.

— Погоди, — сказал Скорев. — Я про служебных. Которых барон нанимал со стороны.

И Михель заткнулся.

Он заткнулся так резко, что это было слышно. Он взял кружку, отпил, поставил, потом взял опять.

— Ну, — сказал Скорев.

— Дык... — Михель посмотрел по сторонам. — Были.

— Сколько?

— Двое.

— Рассказывай.

— Господин, — Михель понизил голос до шёпота, — вы бы не спрашивали.

Скорев положил на стол крейцер.

Он положил его не пододвигая, просто положил рядом со своей рукой, и Михель посмотрел на монету и потом на него, и в этом взгляде было всё сразу: и страх, и жадность, и обида, что его так дёшево покупают, и понимание, что купят.

— Первый весной был, — сказал он, накрывая крейцер ладонью. — Городской, из Гербштадта. Из судейских, что ли. Приехал, книги смотрел. Тённис тогда чернее тучи ходил, я помню. Недели три ездил тот человек, всё считал.

— И?

— И поехал в город, за бумагами какими-то. И с коня упал.

Скорев молчал.

— На Гербштадтской дороге, — сказал Михель. — На ровном месте. Голову себе расшиб.

— А второй?

— Второй летом. Тот не из судейских. Тот вроде вас, служилый, только помоложе. Пожётче был. Он тут месяц пробыл и старосту нашего один раз при людях по морде ударил.

— И что мужики?

— А мужики радовались, — сказал Михель без всякого веселья.

— А потом?

— А потом он утоп.

— Где?

— В мельничном пруду.

Скорев смотрел на него.

— Пьяный был?

— Говорят, пьяный.

— А ты как думаешь?

Михель поёрзал, оглянулся ещё раз и ответил очень тихо:

— А я, господин, думаю, что пруд у нас по грудь. Там бабы бельё полощут.

Он допил пиво и добавил, уже совсем шёпотом:

— Вы бы не ездили, господин.

— Почему?

— Так вы ж третий.

Он поговорил ещё с Лоренцом.

С Лоренцом было проще: тот испугался и оттого сказал больше, чем хотел. Скорев спросил про долг барона, и хозяин сначала замахал руками — не наше дело, господин, откуда нам знать, — а потом, когда Скорев положил на стол крейцер и придвинул, сказал.

Барон занимает не в городе. Барон занимает у Аарона бен Иешуа, трактирщика из Большой Вельде. Уже третий год. Бумаги приносит на подпись управляющий. Сколько там набегало процентов, не знает никто, потому что барон бумаг не читает, а Кремп читает.

— И много ли набегало? — спросил Скорев.

— Ой, господин, — сказал Лоренц и оглянулся. — Люди говорят, барон уже и не хозяин тут. Хозяин тут тот, у кого бумаги.

Ночью Скорев лежал и разбирался.

Он делал это так, как делал всегда перед выходом: раскладывал всё на две кучки. В одну — что известно. В другую — чего не знаю. И потом смотрел, можно ли идти с тем, что есть.

Известно.

Барону нужны шестьдесят талеров за шестнадцать дней. Земля их даёт, но они уходят. Уходят через родню, которая сидит на всех местах, и через управляющего, который за три года поставил каменный дом. Долг барона держит трактирщик, а бумаги на долг носит управляющий, и это значит, что двое, у которых деньги, сидят по разные стороны одного стола и, скорее всего, уже давно договорились.

Двое до него пытались. Один расшиб голову на ровной дороге. Второй утонул в пруду по грудь.

Чего не знаю.

Не знаю, при чём тут пропавшие с Рождества люди. Не знаю, куда ночью ходят гружёные подводы на север, в лес, вместо востока. Не знаю, кто были те двое чужих в добрых плащах. Не знаю, сколько барон понимает и сколько притворяется.

И главное — не знаю, чей человек Хазе.

Скорев повернулся на правый бок и стал считать деньги, потому что деньги были единственное, что считалось точно.

Тридцать шесть дней.

Тридцать шесть дней — и он бродяга на дорогом коне.

Он лежал в темноте и очень ясно понимал, какой ответ он даст завтра, и понимал, что дело не в деньгах, вернее, не только в них.

Он мог бы уйти. Мог бы завтра сесть на коня и поехать на север или на запад, добраться до города, продать там меч, купить простой, наняться в чью-нибудь стражу и дожить свои годы, ходя вдоль стены с алебардой.

И это было бы разумно.

Только Скорев, лёжа на этом тюфяке, вдруг очень отчётливо себе сказал: а больше нигде и не будет. Куда бы он ни поехал, там будет ровно то же самое, потому что это не Малая Вельде такая, — это век такой. И везде найдётся свой Тённис со своей роднёй, и свой Кремп с каменным домом, и свои двое повешенных на развилке, которых вздёрнули, потому что шли не с той стороны.

Разница только в том, что здесь его уже позвали.

«Ну хорошо, — подумал он. — Позвали — пойдём. Только пойдём не так, как шли те двое».

Он стал думать, как шли те двое, и додумался быстро.

Первый был судейский. Он приехал считать книги, и его убили тогда, когда он поехал за бумагами, — то есть когда он собрал достаточно, чтобы его убийство стало дешевле разбирательства.

Второй был солдат. Он приехал бить морды и через месяц ударил старосту при людях. Он показал всем, что он один, и его утопили в пруду по грудь.

Обоих убили не потому, что они были плохи. Обоих убили потому, что они были сами по себе. Приезжий человек, который считает чужие деньги и не имеет за спиной ничего, кроме барского слова, — это не должностное лицо, это свидетель. А свидетеля дешевле утопить, чем откупить.

Значит, идти надо не так.

Значит, первым делом надо перестать быть свидетелем и стать чем-то, что убивать дорого.

Скорев лежал в темноте, и в голове у него медленно, как складывается план на карте, складывалось то, что он завтра скажет барону.

Не «сколько вы мне заплатите».

А «дайте мне должность, дайте бумагу и дайте право вешать».

Потому что человека с бумагой уже нельзя просто утопить в пруду. Человека с бумагой надо сначала оболгать, потом судить, потом объясняться с графом, а это долго, дорого и шумно, и на всё это нужно время. А время ему и требуется.

Он усмехнулся в темноту.

«Вот и всё, чему меня научили пятьдесят лет, — подумал он. — Не лезь в дело без бумаги».

Утром он спустился, поел и велел Михелю седлать коня.

— Едем куда? — обрадовался Михель.

— Никуда. Стой здесь и жди.

Хазе приехал к полудню, как договаривались, и опять один со стражником.

Он не стал слезать. Остановил лошадь посреди двора и посмотрел на Скореву сверху.

— Ну?

Скорев вышел на крыльцо.

— Я поеду к барону, — сказал он.

Хазе кивнул с явным облегчением.

— Ну и добро. Собирайся, вместе...

— погоди. — Скорев поднял руку. — Я поеду к барону. Но я не сказал, что берусь за дело.

Сержант нахмурился.

— Это как?

— А так. Я поговорю с ним сам. И условия я буду ставить сам. И если он на них не пойдёт — я поеду дальше, и он останется без человека, а ты пойдёшь искать дурака, как обещал.

Хазе долго молчал, глядя на него из-под бровей.

— А ты, я гляжу, не прост, — сказал он наконец.

— Я, Хазе, третий, — сказал Скорев. — Первый расшиб голову на ровной дороге, второй утонул в пруду, где по грудь. Я хочу быть последним.

Сержант не удивился. Он даже не спросил, откуда тот знает. Он только пожевал ус и сказал:

— Оно и правильно.

— Тогда едем.

— Едем.

Скорев сошёл с крыльца, взял у Михеля повод и не сразу сел в седло — постоял, глядя на дорогу, которая уходила на восток, к замку.

Оно опять сжало ему грудь — коротко, будто напомнило, — и отпустило.

— Знаю, — сказал Скорев вслух. — Знаю.

И сел на коня.

Глава пятая. Срок

До замка была миля с небольшим, и Хазе всю дорогу молчал.

Молчал он не мрачно, а спокойно, как молчат люди, которые сказали всё, что собирались, и теперь ждут, что из этого выйдет. Скорев ехал рядом и смотрел по сторонам.

Дорога шла мимо полей, и поля были такие же — под водой. Один раз они обогнали телегу: мужик вёз хворост, и, увидев сержанта, свернул в жижу на обочине и стоял там, стянув шапку, пока они не проехали. Хазе на него не посмотрел.

Замок стоял на низком бугре, и Скорев увидел его издали и, пока подъезжали, успел рассмотреть как следует.

Он смотрел на него так, как смотрел бы на любое здание, которое пришлось бы брать, — потому что иначе смотреть не умел.

Ров был. Ров осыпался, зарос и наполовину заплыл; воды в нём стояло по колено, и то не везде. Стена локтей в двадцать, кладка старая, и справа от ворот шла вниз трещина в палец шириной. Ворота дубовые, окованные, но повело их давно: правая створка просела и висела косо, и её, судя по следу в грязи, теперь просто не закрывали до конца.

Башен было две, и обе низкие.

«С полусотней людей и одним тараном — за три дня, — подумал Скорев. — А если поджечь ворота, то и за два».

Он поймал себя на этой мысли и усмехнулся. Мысль пришла целиком, готовая, и он опять не понял, чья она — та память сосчитала или он сам.

Во дворе было пусто и грязно. У коновязи стояли три лошади, все три плохие. Из дверей людской вышел стражник, поглядел на приезжих и ушёл обратно. У стены, под навесом, сидел старик и чинил сбрую.

— Оставь коня тут, — сказал Хазе, слезая. — Пойдём.

Они поднялись по каменной лестнице на второй этаж, в главный зал.

Зал был большой и тёмный. Окна — узкие, без стёкол, и оттого свет в них почти не заходил; на стенах горели два светильника, а на столе стоял подсвечник с тремя свечами. В камине, в котором мог бы стоять в полный рост человек, горели две половины бревна.

Пахло дымом, вином и псиной.

Стол был длинный, локтей в двенадцать, и за ним, у самого камина, в кресле с высокой прямой спинкой сидел один человек.

— Господин барон, — сказал Хазе. — Вот тот человек.

Скорев подошёл на пять шагов и поклонился.

Он поклонился ровно так, как надо было, и опять сделал это не думая: спина сама нашла глубину, шапка сама оказалась снята, и вышло почтительно, но без унижения.

Барон посмотрел на него.

Ему было за сорок. Волосы наполовину седые, лицо одутловатое, нос сломан и сросся набок, а по нижней губе и подбородку шёл белый рубец. Он был крупный, но крупный обвисше — из тех, кто был силен лет пятнадцать назад и с тех пор больше пил, чем двигался. В правой руке он держал кубок, и Скорев сразу заметил эту руку: пальцы были ломаны и сидели неправильно, а на указательном не было ногтя.

Кубок был серебряный и гнутый — не побитый, а именно гнутый, будто им били по столу.

— Ну, — сказал барон. — И кто ты такой?

— Виктор Скорев, отставной солдат.

— Скорев? — Барон поморщился. — Это что за имя?

— Восточное, — сказал Скорев. — Отец был с востока. Тут меня зовут Скореф.

— Скореф, — повторил барон. И вдруг гаркнул: — Вина ему!

Из тени, из-за кресла, вышел старик в потёртой ливрее, поставил на стол второй кубок и налил.

— Садись, — сказал барон.

Скорев сел не сразу — он сначала посмотрел, куда, и сел на лавку сбоку, ближе к камину, так, чтобы видеть и барона, и дверь.

Барон следил за ним поверх кубка.

— Хазе сказал, ты троих выставил.

— Выставил.

— Один?

— Один.

— И не порезал?

— Нет.

— Отчего?

— Оттого что мне за них не платили, — сказал Скорев.

Барон замер на секунду, а потом захохотал.

Он хохотал громко, запрокинув голову, стуча кубком по столу, и вино плескало на скатерть, и было видно, что стол этот многое видел.

— Хорошо! — сказал он, отсмеявшись. — Хорошо сказано. Слышал, Хазе?

— Слышал, господин барон, — сказал Хазе от двери.

Барон вытер рот тыльной стороной покалеченной руки и уставился на Скорева уже без смеха.

— Где служил?

— Начинал в лучниках. Потом арбалет. Последние пять лет — в гвардии, у де Мортенов.

— У де Мортенов, — повторил барон. — В гвардии.

— Корпоралом.

Барон помолчал.

— Врёшь, — сказал он спокойно.

Скорев не пошевелился.

— Нет.

— Врёшь, — повторил барон. — Ко мне таких приходило — с десятков. Все служили у герцогов, все были в гвардии. — Он подался вперёд. — А ну покажи меч.

Скорев отстегнул пояс и положил меч на стол — не подавая в руки, а именно положив, ножами к барону, и убрал руку.

Барон взял его левой, здоровой рукой. Вытянул на треть и посмотрел на клинок, потом на эфес.

Он смотрел на эфес долго.

— Так, — сказал он совсем другим голосом. — А это откуда?

— Подарен.

— Кем?

— Герцогом. Райнхардом де Мортеном.

— За что?

— За то, что вытащил его из свалки под Больо.

Барон медленно вложил клинок обратно.

— Под Больо, — сказал он. — Это когда свеев били?

— Свеев били на другой день, — сказал Скорев. — А в тот день свеи били нас. Герцог полез вперёд с гвардией, гвардию смяли, под ним убили коня, и он лежал под конём в свалке, покуда его не вытащили.

Он говорил и слышал себя со стороны, и то, что он говорил, приходило к нему в тот же миг, как он открывал рот, — не воспоминанием, а знанием, как приходят слова родного языка.

Барон долго молчал.

— Ну ладно, — сказал он наконец. — Ладно.

Он подвинул меч обратно через стол.

— А чего ушёл?

— Ранение.

— Куда?

Скорев поднял левую руку. Она поднялась до груди и встала.

— Ага, — сказал барон и посмотрел на свою правую с ломаными пальцами. — Понятно. И налил себе ещё.

Дальше он говорил долго и почти без остановки, и Скорев понял: барону не с кем говорить.

Барон рассказывал, как он был при Верберге, и как под ним ходили люди, и как он однажды поспорил с бароном из соседнего графства и зарубил под ним коня, потому что тот отказался с ним отобедать. Он рассказывал это с удовольствием, поднимая палец, и было видно, что рассказывает не в первый раз и не в сотый.

Скорев слушал и ждал.

Он ждал того момента, когда человек, наговорившись, сам переходит к делу, — потому что человек, которому не с кем говорить, всегда переходит к делу сам, и переходит без подготовки, вываливая всё разом.

Так и вышло.

— А теперь вот, — сказал барон, обрывая себя на середине, — теперь вот сию.

Он поставил кубок.

— Мне к Мартынову дню платить графу шестьдесят талеров, — сказал он. — Шестидесят. И ещё этому... — Он махнул рукой. — Проценты.

— Кому?

— Да есть тут один. — Барон посмотрел в камин. — Не важно.

— Важно, — сказал Скорев.

Барон повернул к нему голову.

— Чего?

— Если вы хотите, чтобы я нашёл ваши деньги, — сказал Скорев, — то мне важно всё. Кому и сколько.

Барон побагровел, и Скорев на секунду подумал, что сейчас в него полетит кубок.

Но барон не бросил кубок.

— Трактирщику, — сказал он глухо. — Аарону из Большой Вельде.

— Много?

— Не знаю.

— Как — не знаете?

— А вот так! — заорал барон и хлопнул ладонью по столу так, что подсвечник подпрыгнул. — Не знаю! Мне бумагу приносят, я подписываю! Я тебе, что ли, писарь — читать?!

В зале стало тихо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.